

ную ясность и спокойствие духа, о чем он все еще не решается поведать Толстому: «Тупость и черствость, неподвижность умственная и сухость сердечная — вот что находит на меня, и то я бьюсь против этого, то опускаюсь, отдаюсь этому. Но Вам я верен и остаюсь верен, дорогой Лев Николаевич».⁷⁷

Естественно предположить, что разительная душевная перемена как-то связана с заключительной стадией работы над воспоминаниями о Достоевском, которому он перестает быть «верен» (да и был ли «верен» когда-либо в полном смысле?). Возникает потребность в исповеди, в уяснении причин и сути душевной смуты. Тогда-то и создается запись «Для себя» и вслед за ней кошмарное письмо Толстому от 28 ноября 1883 года (корреспонденция между ними, кстати, прерывается более чем на два месяца — и мы не располагаем прямыми или косвенными сведениями о каких-то пропавших в этот временной промежуток письмах) — акт не освобождения, а, пожалуй, отречения, один из самых больных и тягостных литературных документов XIX века. В записи сказано лаконично, без детализации: «Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. *Для себя* мне хочется однако формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием».⁷⁸ Сознание, похоже, мало помогало, а добрые чувства улетучились бесследно. Страхов в письме текст «для себя» превращает в признание «для Толстого»; он давно уже его выбрал своим исповедником: «Все время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход».⁷⁹

В письме Страхова просто потрясают неистовая злоба, клокочущая ненависть и исключительная резкость определений ведущих черт характера Достоевского: «Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен (...) он никогда не калялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям и он хвалился ими (...) При животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести».⁸⁰ Ни одной доброй черты, ни одного искреннего душевного движения Страхов не обнаруживает в Достоевском, «истинно несчастном и дурном человеке», представляя его, так сказать, нравственным Квазимодо: «*Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты*, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Д(остоевского), я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — Боже, как это противно!»⁸¹

Страхов упорно повторяет и ранее уже прозвучавшую мысль о том, что Достоевский любил только «одного себя». Утверждает — и это странно читать у автора блестящих и глубоких критических статей, — что в парадоксалисте повести «Записки из подполья», Свидригайлове и Ставрогине он изобразил самого себя, и даже что «все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».⁸²

⁷⁷ Там же. С. 651.

⁷⁸ Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 564.

⁷⁹ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же. С. 653.

⁸² Там же. С. 652, 653.